

в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, сразу же оборвавшийся смех Малыша. Малыш летел — это было несомненно.

На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившей кисеи. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце; пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобно острые пики, покрытые вечными снегами, — безрадостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ошетиненный. И мы увидели мощное, лаково отсвечивающее колено Малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, крепко сцепившуюся в осязаемое ничто.

Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхузе вид был тоже озадаченный, а Майка недоверчиво шурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен — сидел, уперев локти в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы.

А Малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось, — в черную трещину, расколывшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи — там царил сплошной тьма. И в эту тьму стремительно ворвался Малыш; изображение исчезло, и Майка, протянув руку, включила усиление, но и с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых полос. Затем Малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбилась!» — подумала я в ужасе. Майка изо всей силы впечилась мне в память.

На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна, все было серое и черное, и слышались странные звуки — какое-то бульканье, хриплое курлыкание, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга, курлыкание и бульканье становились то громче, то тише, разгорелся и погас оранжевый огонек, потом еще один и еще... Что-то коротко взревели и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра», — сквозь зубы проговорил Комов. Майка схватилась за верньер инфракрасного усиления и повернула его до отказа. Экран сразу посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал.

Все пространство было заполнено фосфоресцирующим туманом. Правда, это был не обычный туман, в нем угадывалась какая-то структура — словно срез живой ткани под расфокусированным микроскопом, и в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрания темных пульсирующих зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь, а Малыш шел через это, будто на самом деле ничего этого не было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами, и пальцы его вибрировали и содрогались в сложном и очевидном ритме, а вокруг булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.

Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, распыляется, и вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев Малыша. И тогда Малыш остановился. Мы поняли это по тому, что звуки перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков.

Хриплые гулы, басистое бормотание, задавленные писки... Что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами... зудение, скрип, медные удары... А потом в ровном сиянии проступили темные пятна, десятки темных пятен, больших и маленьких; сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое, и вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно, но я уже не мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и видимая словно бы несколько сверху... И тут что-то произошло. На какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным. Слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бесшумный голос Комова произнес:

— Зачем вы это сделали?

Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпрямившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокойна. Она тоже подвинулась и теперь стояла перед Комовым лицом к лицу. Она молчала.

— Что случилось? — осторожно осведомился Вандерхузе. По-видимому, он тоже ничего не понимал.

— Вы либо хулиганка, либо... — Комов остановился. — Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, Майка, входить в рубку и на пост УАС. Ступайте отсюда.

Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за ней.

— Попов! — резко сказал Комов.

Я остановился.

— Прошу вас немедленно передать эту запись в Центр. Экстренно.

Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. Такой Комов имел несомненное право приказывать, сажать под домашний арест и вообще подавлять любой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, что я сейчас разорвусь пополам. Как Малыш, мелькнуло у меня в голове.

Вандерхузе произнес, кашлянув:

— Э... Геннадий. Может быть, все-таки не в Центр? Горбовский ведь уже на Базе. Может быть, все-таки на Базу, как вы полагаете?

Комов все смотрел на меня. Суженные глаза его казались льдинками.

— Да, конечно, — проговорил он, совершенно, впрочем, спокойно. — Копию на Базу, Горбовскому. Благодарю вас, Яков. Попов, приступайте.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как приступить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фуражки, как в старину, я повернул бы свою фуражку козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и поэтому я, извлекая из рекордера кассету, ограничился тем, что спросил с вызовом:

— А что, собственно, произошло? Что она такого сделала?

Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем по подлокотнику. Вандерхузе, растопырив бакенбарды, тоже смотрел на него с ожиданием.

— Она включила прожектор, — сказал наконец Комов. Я не сразу понял.

— Какой прожектор?

Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную клавишу.

— А! — произнес Вандерхузе с огорчением.

А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к ра-

ции. Если честно, говорить мне было нечего. Даже за меньшие провинности людей с шумом и позором вышибали из Космоса. Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обрuch. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего сознание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты, даже на освещенной стороне планеты... даже если он засыпан... Такой прожектор излучает в диапазоне от ультрафиолета до УКВ... Не было еще случая, чтобы разведчику не удалось отпугнуть такой вспышкой самое бешеное, самое кровожадное животное. Даже тахогров, которые вообще ничего на свете не боятся... «С ума сошла, — подумал я безнадежно. — Совсем забесилась...» Но вслух я сказал (усаживаясь за радио):

— Подумаешь! Нажал человек не на ту клавишу, ошибся...

— Да, действительно, — произнес Вандерхузе. — Наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор... Клавиши рядом... Как вы полагаете, Геннадий?

Комов молчал. Что-то он там делал на пульте. Я не хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал демонстративно глядеть в другую сторону.

— Неприятно, конечно, — бормотал Вандерхузе. — Ай-ай-ай-ай... В самом деле, ведь это может отразиться... Активное воздействие... Вряд ли приятное... Гм... У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время, Геннадий. Не удивительно, что девочка ошиблась... Мне самому хотелось, знаете ли, что-нибудь сделать... как-то улучшить изображение... Бедный Малыш! По-моему, это он закричал...

— Вот, — сказал Комов. — Можете полюбоваться. Три с половиной кадра.

Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал и подошел. На экране было то самое, что я увидел в последнее мгновение, но не успел воспринять. Изображение было отличное, и все-таки я совершенно не понимал, что это такое. Много людей, множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке. Стояли они как бы на ровной и хорошо освещенной площади. Передние фигурки были больше, задние, в полном соответствии с законами перспективы, меньше. Впрочем, ряды казались бесконечными и где-то вдали сливались в сплошные черные полосы.

— Это Малыш, — проговорил Комов. — Узнаете?

До меня дошло: действительно, это был Малыш, повторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчисленное множество раз.

— Похоже на многократное отражение, — пробормотал Вандерхузе.

— Отражение... — повторил Комов. — А где же тогда отражение лампы? И где у Малыша тень?

— Не знаю, — честно признался Вандерхузе. — Действительно, тень должна быть.

— А вы что думаете, Стась? — спросил Комов, не оборачиваясь.

— Ничего, — коротко сказал я и вернулся на свое место.

На самом-то деле я, конечно, думал, у меня мозги скрипели — так я думал, но придумать ничего не мог. Больше всего мне это напоминало формалистический рисунок пером.

— Да, немного мы узнали, — проговорил Комов. — Даже шерсти клок оказался никудышным...

— Охо-хо-хо-хонюшки, — проговорил Вандерхузе, тяжело поднялся и вышел.

Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как там Майка. Но я взглянул на хронометр — до конца передачи оставалось еще минут десять. Комов шуршал и возился у меня за спиной. Потом рука его протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной лег голубой бланк радиogramмы.

— Это объяснительная записка, — сказал Комов. — Отправьте сразу же по окончании передачи записи. Я прочел радиogramму.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, ГОРБОВСКОМУ. КОПИЯ: ЦЕНТР, БАДЕРУ. НАПРАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЗАПИСЬ С ПЕРЕДАТЧИКА ТИПА ТГ. НОСИТЕЛЬ МАЛЫШ. ЗАПИСЬ ВЕЛАСЬ С 13.46 ПО 17.02 БВ. ПРЕРВАНА ВСЛЕДСТВИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ ПО МОЕЙ НЕБРЕЖНОСТИ. СИТУАЦИЯ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.

Я не понял и перечитал радиogramму еще раз. Потом я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрел на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна благодарности захлестнула меня с головой. Нет, этого не было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому человеку. Но должного ему нельзя было не отдать. В такой ситуации не всякий поступил бы столь же решительно и просто. И неважно, собственно, почему он так поступил: потому ли, что пожалел Майку (сомнительно); или устыдился своей резкости (более похоже на правду); или потому, что принадлежит к руководителям того типа, которые совершенно искренне считают проступки подчиненных своими проступками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой вылететь из Космоса существенно уменьшилась, а позиции и реноме самого Комова заметно ухушились. Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам зачтется. Такие действия надлежит всячески поощрять. А с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола, в самом деле? Что она — маленькая? В куклы она тут играть решила?

Автомат звякнул и выключился, я взялся за радиogramму. Вошел Вандерхузе, толкая перед собой столик на колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной ловкостью, которая сделала бы честь самому квалифицированному киберу, он поставил поднос с тарелками у правого локтя Комова. Комов рассеянно поблагодарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и налил еще.

— А салат? — огорченно спросил Вандерхузе.

Я покачал головой и сказал в спину Комову:

— У меня все закончено. Можно быть свободным?

— Да, — ответил Комов не оборачиваясь. — Из корабля не выходить.

В коридоре Вандерхузе сообщил мне:

— Майка обедает.

— Истеричка, — сказал я со злостью.

— Напротив. Я бы сказал, что она спокойна и довольна. И никаких следов раскаяния.

Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за столом, ела суп и читала какую-то книжку.

— Здорово, арестант! — сказал я, усаживаясь перед ней со своим стаканом.

Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, прищурив один глаз.

— Как начальство? — осведомилась она.

— В тигстром раздумье, — сказал я, разглядывая ее. — Решает, вздернуть ли тебя на фок-рее немедленно или довести до Дувра, где тебя повесят на цепях.

— А что на горизонтах?

— Без изменений.

— Да, — сказала Майка, — теперь он больше не придет.

Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлебнул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Вандерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг пришло в голову: а капитан-то наш рад-радехонек, что не он командует в сей кампании.

— Да, — сказал я. — Похоже на то, что контакт ты нам сорвала.

— Грешна, — коротко ответила Майка и снова уткнулась в книгу. Только она не читала. Она ждала очередное осложнение.

— Будем надеяться, что дело обстоит не так плохо, — сказал Вандерхузе. — Будем надеяться, что это просто очередное осложнение.

— Вы думаете, Малыш вернется? — спросил я.

— Думаю, да, — сказал Вандерхузе со вздохом. — Он слишком любит задавать вопросы. А теперь у него появилась масса новых. — Он доел салат и поднялся. — Пойду в рубку, — сообщил он. — Сказать по правде, это очень некрасивая история. Я понимаю тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. Так, знаешь ли, не поступают...

Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, толкая перед собою столик. Как только шаги его затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но строго:

— Ты это сделала нарочно или случайно?

— А ты как полагаешь? — спросила Майка, уставясь в книгу.

— Комов взял вино на себя, — сказал я.

— То есть?

— Лампа-вспышка была включена, оказывается, по его небрежности.

— Очень мило, — произнесла Майка. Она положила книжку и потянулась. — Великолепный жест.

— Это все, что ты можешь мне сказать?

— А что тебе, собственно, нужно? Чистосердечное признание? Раскаяние? Слезы в жилетку? Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался.

— Прежде всего я хотел бы узнать, случайно или нарочно?

— Нарочно. Что дальше?

— Дальше я хотел бы узнать, для чего ты это сделала.

— Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда прекратить безобразие. Дальше?

— Какое безобразие? О чем ты говоришь?

— Потому что это было отвратительно! — сказала Майка с силой. — Потому что это было бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как гнусная комедия превращается в трагедию. — Она отшвырнула книжку. — И нечего сверкать на меня глазами! И нечего за меня заступаться! Ах как он великодушен! Любимец доктора Мбоги! Все равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, чтобы они вовремя хватали за руку всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают!

У меня было благое намерение выдержать вежливый, корректный тон до конца. Но тут терпение мое лопнуло. У меня вообще дело с терпением обстоит неважно.

— Нагло! — сказал я, не находя слов. — Нагло себя ведешь! Нагло!

Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхлебать.

— А дальше? — спросила Майка, презрительно усмехаясь.

— Все, — сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан. Действительно, сказать мне было больше нечего. Расстрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то

к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто чтобы обругать ее.

— А если все, — сказала Майка, — то иди в рубку и делуись со своим Комовым. А заодно со своим Томом и прочей своей кибернетикой. А мы, знаешь ли, просто люди, и ничто человеческое нам не чуждо.

Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ — нет у меня товарища. Ну что ж, переберемся.

— Приятного аппетита, — сказала я и на негнувшихся ногах направился в коридор.

Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дрожали. Я заперся у себя в каюте, повалился на постель и уткнулся носом в подушку. Глупо. Глупо!.. Ну ладно, ну не нравится тебе эта затея. Мало ли кому что не нравится! В конце концов тебя сюда не приглашали, случайно ты здесь оказалась, так уж веди себя как полагается! Ведь не понимаешь же ничего в контактах, квартирьер несчастный... снимай свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят! Ну что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты их вообще видела — абстрактные? Ведь сегодня она абстрактная, а завтра без нее история остановится... Ну хорошо, ну не нравится тебе. Ну, откажись!.. Ведь так все шло славно, только-только с Малышом сошлись, такой парень чудесный, умница, с ним горы можно было бы своротить! Эх ты, квартирьер... Друг, называется... А теперь вот ни Малыша, ни друга...

И Комов тоже хорош: ломится, как вездеход, напролом, не посоветуется, не объяснит ничего толком... Не-ет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участвовал — дудки! Кончится вся эта кутерьма, немедленно подаю заявление в проект «Ковчег-2»... Я стал рисовать сладостные картины, как я работаю в проекте «Ковчег-2» — с Вадиком, с Таней, с головастой Ниной в конце концов. Как зверь буду работать, без болтовни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов!..

Незаметно я заснул и спал так, что только бурьлки отскакивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за последние двое суток я не проспал и четырех часов.

Еле-еле Вандерхузе меня добудился. Пора было на вахту.

— А Майка? — спросил я спросонок, но тут же спохватился. Впрочем, Вандерхузе сделал вид, что не расслышал.

Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сообщив, что вокруг корабля ничего не происходит и что через шесть часов меня сменит Комов.

Было ровно двадцать два по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана — рвал в клочья туманную шапку над горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж.

Я включил внешнюю акустику, с минуту послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке и снова отключился.

Я попытался представить себе, что сейчас делает Малыш, вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, точнее — не света, конечно, а тепла, и это ровное сияние, наполненное кашей странных звуков, и загадочный строй отражений, которые не были отражениями... Ну что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно и есть, ох, есть о чем поразмышлять. Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и

тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Майка. («Мам-ма...» — «Да, колокольчик», — вспомнил я.) С точки зрения Малыша все это должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда никогда не пришел... А ведь Комов так обрадовался, когда Майка надела на Малыша свой обруч. «Молодец, Майя!» — сказал он. Это хороший шанс, я бы не рискнул... Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого недоумали. Объектив, например, надо было делать стерео... хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей... Но кое-что подсмотреть все-таки удалось. Скажем, как Малыш летел. Только — каким образом летел, почему летел, на чем летел... И эта сцена у разбитого «Пилигрима»... Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройтись локатором-пробником по горизонту...

Запел радиовывоз. Я подошел к рации. Незнакомый голос очень вежливо, я бы даже сказал — робко, поприветствовал Комова.

— Кто вызывает? — осведомился я не очень приветливо.

— Это такой член Комиссии по контактам Горбовский моя фамилия. — Я сел. — Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?

— Сейчас, Леонид Андреевич, — забормотал я. — Сию минутку, Леонид Андреевич... — Я торопливо включил интерком. — Комова в рубку, — сказал я. — Срочный вызов с Базы.

— Да не такой уж срочный... — запротестовал Горбовский.

— Вызывает Леонид Андреевич Горбовский! — торжественно добавил я в интерком, чтобы Комов там не слыхом копался.

— Молодой человек!.. — позвал Горбовский.

— На вахте Стась Попов, кибертехник! — отпартовал я. — За время моей вахты никаких происшествий не произошло!

Горбовский помолчал, потом неуверенно произнес:

— Вольно...

Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лидо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами — темные круги. Я поднялся и уступил ему место.

— Комов слушает, — проговорил он. — Это вы, Леонид Андреевич?

— Это я, здравствуйте... — отозвался Горбовский. — Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки... Комов только глянул на меня, и руки мои сами протянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным. По разным причинам.

— Ага, — удовлетворенно сказал Горбовский. — Вот я вас начинаю видеть.

На нашем экранчике тоже появилось изображение — знакомое мне по портретам и описаниям длинное и как бы слегка вдавленное внутрь лицо Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел этаким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имела место царапина — по-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место вахтенного. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я

принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности.

Горбовский сказал:

— Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное. Безумно интеллектно. Изобретательно, изящно... молниеносно...

— Польщен, — отрывисто сказал Комов. — Но?

— Почему «но»? — удивился Горбовский. — «И» — вы хотите сказать. И большинство членов Комиссии придерживается того же мнения. Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток.

— Я здесь ни при чем, — сухо сказал Комов. — Благоприятные обстоятельства, только и всего.

— Нет, не говорите, — живо возразил Горбовский. — Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто — знать заранее. А потом — ваша решительность, интуиция... энергия...

— Я польщен, Леонид Андреевич, — повторил Комов, чуть повысив голос.

Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил:

— Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу Малыша?

Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгновение ока, с невозможной быстротой и прямокой попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежился и перестал дышать.

Комов сказал:

— Малыш будет посредником между Землей и аборигенами.

— Я понимаю, — сказал Горбовский. — Это было бы прекрасно. А если контакт не состоится?

— Леонид Андреевич, — произнес Комов жестко. — Давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить Малыша в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стремлюсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, человеческое, земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим Малыша. Они отталкиваются от нас, они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подосознание Малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в Малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас, — ситуация критическая. Сознание Малыша принадлежит нам. Подсознание — им. Конфликт очень тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить Малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и Малыш превратится целиком и полностью в вашего сотрудника. Вы не можете не поинимать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество... Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у Малыша — после того как мы раскроем ему истинное положение дел — в сознательное стремление защититься от нас свой «дом», своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения. Но я уверен: мы сумеем убедить Малыша, что наши цивилизации — это равные партнеры, со своими достоинствами и недостатками, и тогда он, как посредник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением, жизнь его будет радости и полна... — Комов

помолчал. — Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого случая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.

— Понимаю, — сказал Горбовский. — Знаю ваши идеи, цену их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем, мне было страшно, но я все думал: а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности!.. И еще я все время думал, что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело пойдет так далеко уже через двое суток... — Горбовский сделал паузу. — Геннадий, контакта ведь не будет. Пора бить отбой.

— Контакт будет! — сказал Комов.

— Kontakta не будет, — мягко, но настойчиво повторил Горбовский. — Вы прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией. С разумом, замкнутым на себя.

— Это не замкнутость, — сказал Комов. — Это квази-замкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спали и воспитали Малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, Леонид Андреевич.

— Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость — это теоретическая идеализация. Конечно, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же касается Малыша... Конечно, все это домыслы, но ведь если цивилизация достаточно стара, гуманизм ее мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность...

— Все это возможно, — сказал Комов. — Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки для контакта остаются. Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией... Нет, Леонид Андреевич! Обо всем этом я думал, и вы сами хорошо понимаете, что ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего — и только. Вы предлагаете отступить, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца.

— Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет, — тихонько сказал Горбовский.

— Кто же еще? — осведомился Комов с легкой ушмешкой. — Август-Иоганн-Мария Бадер?

— Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий... Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер бортжурнал не на планете, а еще в Космосе — не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в Космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокообразованная агрессивная цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно, — вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И вот два часа назад пришло сообщение, что он наконец обнаружен. — Горбовский замолчал.

Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: «Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать.

— Он великолепно замаскирован. Он поглощает почти все лучи. Мы никогда бы не нашли его, если бы

не искали специально, да и то пришлось применить нечто совсем новое — мне объясняли, но я не понял, что именно, какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его надунали и взяли на бордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь Странники. Очень давно установили, порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена, мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной, много объяснения я придумать не могу. Вопрос: почему? В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один: они на своем опыте поняли, что местная цивилизация некоммуникабельна, более того — она замкнута, более того — контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август-Иоганн Бадер... Но насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о Странниках, Геннадий. — Горбовский снова помолчал. — Однако дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзирая даже на мнение Странников, могли бы позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь предупреждающий знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом только наших двух цивилизаций... Но дело в том, что между нашими двумя цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас третья. И за эту третью, Геннадий, за единственного ее представителя, Малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности.

Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный, какой-то надломленный. Заговорил он о Странниках — сначала подивился тому, что Странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением, но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым Странники всегда путешествуют целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ничем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувекковая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск — слишком много жертв, слишком много недешевых ошибок, слишком мало толку. «Да, — соглашался Горбовский, — я тоже об этом думал». Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам. У нас все руки не доходили проанализировать эти исчезновения, а ведь теперь они предстают в новом свете. «И верно! — с энтузиазмом подхватил Горбовский, — об этом я как раз не подумал, это очень интересная мысль». Поговорили об охранным спутнике, подивились, что он нес только два заряда, попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления Странников об обитаемости Вселенной, нашли, что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений, но сама собой возникает мысль, что Странники, по-видимому, намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись — возможно, прав Боровик, полагая, что Странники вообще покинули Галактику. Комов полуслушливо предположил, что аборигены и есть Странники — угномонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшиеся на себя. Горбовский опять намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать,

как надлежит оценивать такую эволюцию Странников в свете теории вертикального прогресса. Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, перескочили внезапно на умиротворение какой-то Островной империи и о роли в этом умиротворении некоего Карла-Людвига, которого они почему-то тоже называли Странником; плавно и как-то неуловимо перешли от Карла-Людвига к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации... Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное — почему они говорят именно об этом.

Потом Горбовский сказал:

— Я вас совсем заморил, Геннадий, извините. Идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы давненько-таки не видались.

— Но скоро, конечно, увидимся вновь, — проговорил Комов с горечью.

— Да, я думаю, дня через два. Бадер уже в пути, Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь Комкон будет на Базе.

— Значит, до послезавтра, — сказал Комов.

— Передайте привет вашему вахтенному... Стасю, скажется. Очень он у вас... такой... строевой, я бы сказал. И Якову, Якову обязательно передавайте привет! Ну и всем остальным, конечно.

Они попрощались.

Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно тараторить на обзорный экран, ничего не видя, ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня окаменела шея и кололо под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно: «А что мне Странники? Подумаешь, Странники! Я сам, в некотором роде, Странник...»

Вдруг Комов сказал:

— Ну а ваше мнение, Стась?

Я чуть было не ляпнул: «А что нам Странники?», но удержался. Посидел секунду в прежней позе — для значительности, а потом повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полузакрыты, рот какой-то скорбный.

— Наверное, придется выждать... — сказал я. — Что же делать... Да и Малыш, может быть, больше не придет... во всяком случае, не скоро придет... Комов усмехнулся краем рта.

— Малыш-то придет, — сказал он. — Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь появилось новых вопросов?

Это было почти слово в слово то, что сказал в каюткомпании Вандерхузе.

— Тогда, может быть... — пробормотал я нерешительно. — Может быть, и на самом деле лучше...

Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после самого Комова что мог сказать незаметный, рядовой кибертехник, двадцати лет, стаж практической работы шесть с половиной суток, — парень, может быть, и неплохой, трудолюбивый, интересующийся и все такое, но, прямо надо признать, не великого ума, простоватый, невежественный...

— Может быть, — вяло сказал Комов. Он поднялся, направился, шаркая подошвами, к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг искажилось. Он почти выкрикнул: «Неужели же никто из вас не понимает, что Малыш — это случай единственный, случай, по сути дела, невозможный, а потому единствен-

ный и последний! Ведь этого больше не случится никогда. Понимаете? Ни-ког-да!»

Он ушел, а я остался сидеть лицом к радию и спиной к экрану и старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда!.. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались! Бедный Комов, бедная Майка, бедный Малыш... А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет полегче, Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный — Комов. Это же надо придумать: наткнуться — лично наткнуться! — на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести наконец под свои идеи экспериментальный базис, и вдруг — все вдребезги! Вдруг тот самый Малыш, который должен был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие... Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее Малыша или вертикальный прогресс человечества. Тут какая-то логическая каверза, вроде апорий Зенона... или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить? Человечество все-таки...

В задумчивости я вернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели у меня из головы.

Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, на самой границе мертвой зоны, перед входным люком, и я сразу понял, что это Малыш сидит там на снегу и не решается войти — одинокий, раздраемый между двумя цивилизациями...

Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил было доху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек, испрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка, у меня под ногами, чернел какой-то круглый предмет. Я попятился. Черт знает какая дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться.

Это был наш мяч. А на мяч был напаян обруч с «третьим глазом». Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом.

И ни одного следа на снежной пелене.

Заключение

Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется побеседовать.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Побеседуем? Давай?

Для связи выделено четыре часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписания. Он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник Странников... Я не сержусь. На него нельзя сердиться.

— Здравствуй, Малыш! — отзываюсь я. — Конечно, давай побеседуем.

Он жмурится, как бы от удовольствия, и задает свой стандартный вопрос:

— Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твоё изображение?

Я уверяю его, что это я, собственной персоной, Стась Попов лично и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения, и он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он так шутит, может

быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него любимые слова — «изображение», «феноменально», «по бим-бом-брамселам»...

— Почему глаз видит? — начинает он.

Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать, и хотя теперь он бросил эту свою манеру — метаться как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает, — я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неопиcуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания.

— Феноменально! — хвалит он, когда я заканчиваю. — Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз...

Между прочим, эти его одинокие размышления над прослушанным (бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев) наводят его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас.

— Как узнали, что люди думают головой? — спрашивает он.

Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слушает меня по-прежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но когда я заканчиваю, он объявляет:

— Нет. Это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?..

Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести Малыша на идею аборигенов. И предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удается, и в последнее время я заметил, что Малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает гадовать? Кто его знает... Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его...

— Почему вы можете, а я не могу?

— Этого мы еще толком не знаем, — признаюсь я и осторожно добавляю: — Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек...

— Тогда что же такое человек? — немедленно осведомляется он. — Что такое человек совсем?

Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный Информаторий работает на меня, крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знания работают на меня, я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений.

— У тебя усталый вид, — сочувственно замечает Малыш. — Ты устал?

— Ничего, — говорю я. — Терпеть можно.

— Странно, что ты устаешь, — сообщает он задумчиво. — Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?

Я набираю в грудь побольше воздуха и принимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собою камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К тому моменту, когда я заканчиваю, перед Малышом вырастает сложнейшее

сооружение, решительно ни на что не похожее, но в своем роде гармоничное и странно осмысленное. — Ты рассказал хорошо, — говорит Малыш. — Скажи мне, наша беседа записывается?

— Да, конечно.

— Изображение хорошее, четкое? Изображение!

— Как всегда.

— Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед: узлы остывания здесь, здесь и здесь...

Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсивала. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и Малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что Мальчик мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально, и некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсивала.

— Обязательно, — говорю я. — Непременно передам. Сегодня же.

— А может быть, это пустяки, — вдруг заявляет Малыш и одним движением сметает всю свою конструкцию. — Что сейчас делает Лева? — спрашивает он.

Лева — это старший инженер Базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, окопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Лева и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна бакебарда до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же, Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуждается в помощи, — когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь...

— Лева спит, — говорю я. — У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток.

— Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?

— Это не страшно, — говорю я искренне. — Мне интереснее с тобой, чем спать.

— Нет. Ты иди и спи, — решительно распоряжается Малыш. — Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.

Это «мы» проливается на мое сердце подобно балзаму. Впрочем, Малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.

— Иди спать, — повторяет Малыш. — Но только скажи мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на этот берег?

— Никто, — говорю я, как обычно. — Можешь не беспокоиться.

— Это хорошо, — говорит он с удовлетворением. — Так ты спи, а я пойду поразмышляю.

— Конечно, иди, — говорю я.

— До свидания, — говорит Малыш.

— До свидания, — говорю я и отключаюсь.

Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь.

Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на двухсоткилометровой высоте, мою Базу, состыкованную со спутником Странников, а за его спиной расстилается знакомый

мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег — песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним — тонкие и длинные линии колоссальных по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого.

Там у них сейчас весна, на кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо

ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.

— Здравствуй, Стась! — говорит он. — Ты уже поспал?

— Да, — отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно.

— А хорошо было бы сейчас поиграть, верно?

— Да, — говорю я. — Это было бы неплохо.

— Сверчок на печи, — говорит он и некоторое время молчит.

Я жду.

— Ладно, — бодро говорит Малыш. — Тогда давай опять побеседуем. Давай?

— Конечно, — говорю я. — Давай.

АНТОНИН ЧИСТЯКОВ

Баллада о двух ножах

1

Меж двух сегодняшних Германий
Лежит граница, словно шрам.
Ножей мы видели немало.
От лезвий — холодно глазам.
Мы падежи еще зубрили,
А у далеких рубежей
На Рейне сверстникам вводили
Урок метания ножей.
Мишенью — карта. Мелом страны
Восточней Вислы обвели.
Зияли ножевые раны
На полушарии Земли...

2

Земля июньская вращалась,
Как факел, в космосе слепом,
И рожь сама воспламенялась,
И делать нечего серпом.
И, серп достав из-за стропила,
С ним парень в кузницу пошел.
И, укороченный зубилом,
Тот серп солдатским стал ножом.
Обрублен серп.
У рукояти
Осталась треть его горба,
Но и при этом не утратил
Он сути, профиля серпа.
Полями теми же прошел он
И вместе с парнем он окреп,
Деля святой, ржаной, тяжелый,
С землей и льдом, солдатский хлеб.
Не повернул он в рукопашной
От лезвия чужого вспять,
И в порывежней снежной каше
Чернела вражья рукоять.
За годы сточен до горбины,
В рубцах вдоль рукоятки всей,
С отметкой пулевой,

В Берлине

Он парнем передан в музей.
Прошел полями и дворцами
Преображенный этот серп...
Познал и злак, и лед, и пламя
И золотом вчекамен в Герб.

3

Трофейный нож.
Рубец — на скате.
Но сталь и до сих пор остра.
Орел — на черной рукояти
И свастика из серебра.
Его голубиэны двускатной
Не брали ни брусок, ни ржа.
Дороги не было обратной
У расчехленного ножа:
Он стыл в сугробе, оседая
У синих пальцев мертвеца.
Седея быль — не пыль седея,
И не рубцуются сердца.
С ножом, блестя отделкой тонкой,
Шел кавалер креста сюда,
И хоть бы холмик,
Лишь в воронке
Под рыжим льдом ржавей вода.
Над полем ветры голосили.
Сапог, торчавший у столба,
Указывал,
Куда в России
Ведет Батыева тропа.

4

Секунда будет роковою.
Когда опять юнец вдали
Метнет из положенья «к бою»
Нож в полушарие Земли.
Урок забыл он: срок немалый.
Но протяженность рубежа
Меж двух сегодняшних Германий —
Как рана от того ножа.
И говорим:
«Не трогай нож —
Ты в руки смерть свою берешь!»

Владимир Турбин

Воплощенное слово

ЗА РАБОТОЙ режиссера Бориса Равенских москвичи следили давно — он и не знал, что следят. А они следили: он ставил «Как закалялась сталь» Николая Островского.

От театра имени Пушкина радиоволнами расходились известия:

— Ах, как же с ним трудно работать! На каждую репетицию приходит с новой концепцией...

— Вчера разговорился, про Мейерхольда два часа вспоминал...

— Интересно...

— Но трудно, трудно! Всех замучил...

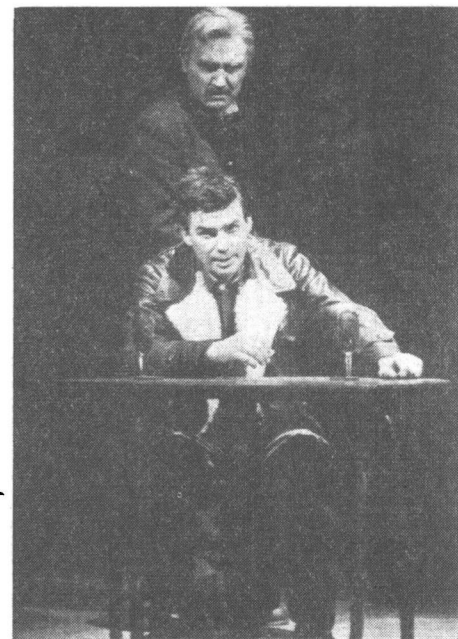
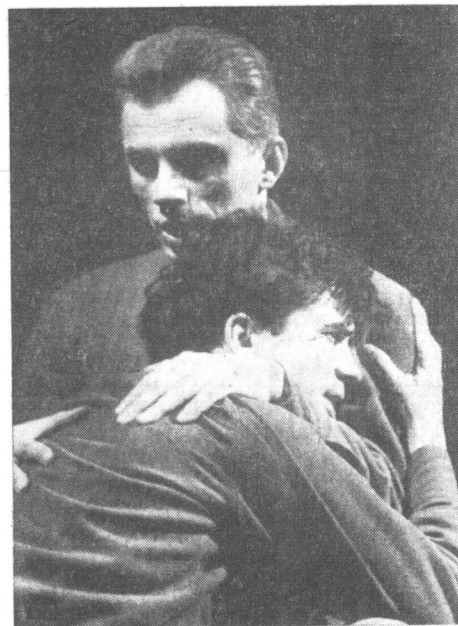
Было ясно, что спектакль Равенских — противопоставление. Театра, условно говоря, «громкого» — «тихому», «театру вполголоса». Что здесь — полемика. С какой-то идеологической застенчивостью, что ли: Человек и Государство, Человек и История, Человек и Века — так хочет ставить спектакль Равенских. И каплей звенели слухи: «Всех замучил!». Про то, что замучил, говорили беззлобно — напротив, с какой-то невнятной радостью.

— Что ни день, то у него все заново надо делать.

— Да, но, значит, талантливое что-то получится. Серенькие на каждую репетицию с новой концепцией не придут...

Я ДАВНО не видел таких размашистых, внутренне громадных спектаклей-зрелищ, когда кажется, что ожили перед тобою таинственные философские легенды: мир заново создается, выплывает из затемнения, из первоначального хаоса. Мир еще не успел упорядочиться, дисциплинироваться, страсти людские свободно бушуют в нем. И спорят тут всерьез и крупно: каким быть миру создаемому, как жить человеку в нем — смертному человеку в бессмертном мире? Новое все — исторически новое; недавнее исторически: революция, двадцатые годы, нэп. Николай Островский и Павел Корчагин, Корчагин — не сам Островский, а творение ума, воли, духа его. Ожившая страничка из его партбилета. Воплощенное слово его. Новизна историческая — в их разговорах: спектакль поставлен как разговоры меж ними, полные уверенности со стороны художника, а со стороны того, кого создал он, полные тревоги, радостного недоумения, признательности и сдерживаемых сомнений. «Сотворил ты меня, Островский Николай, но чем же я замечателен? — таков смысл обращенных к Островскому слов, взглядов Корчагина. — По силам ли мне, смогу ли я упования твои оправдать, обессмертить тебя, бремя идей твоих в века донести?» Их быт, их речь, в потоке которой нет-нет да и мелькнет что-то от романтического жаргона двадцатых годов, — все новое. Но в бесспорно новом оживают легенды. О сотворении мира. О грехе и безгрешности. И...

Выскажу одно наблюдение, на обязательности которого настаивать не могу. Поскрипывающий сапогами слепец Островский, несмотря на молодость, юность



Сцены из спектакля московского театра им. А. С. Пушкина „Драматическая песня на тему Николая Островского“ (сценическая композиция Бориса Равенских и Михаила Анчарова; постановка Бориса Равенских)

Фото Галины Крюковой